

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Е. Шишпарёнок

аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Иркутского государственного университета
г. Иркутск

Сибирский миф и художественный образ Сибири в русской литературе XIX в.*

Образ Сибири в русской литературе XIX в. рассматривается во взаимодействии с сибирским мифом, и это взаимодействие, по мнению автора статьи, идет по пути дальнейшей мифологизации (Ф.М. Достоевский, А.А. Бестужев-Марлинский, И.А. Купцовский, С.Я. Елпатьевский, в определенной степени – И.А. Гончаров), или демифологизации образа Сибири (В. Сибирский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов).

E. Shishparyonok

Siberian myth and the images of Siberia in Russian literature in 19 century

The literary image of Siberia should be regarded as a part of Siberian myth in Russian culture. The images of Siberia in the works of Russian writers in 19 century have some common and some differing features. Two main tendencies in literary delineating of Siberia can be distinguished: the tendency of private mythologization of Siberian image and the tendency it's of demythologization.

Противоречивое смысловое поле, сформировавшееся за определенный исторический период вокруг Сибири, включающее в себя представления о ее сущности, своеобразии и месте в судьбе России, неизбежно принимает форму *мифа*. С нашей точки зрения, никакой другой термин не будет здесь более точным – не слух, не легенда, не образ, не идеологема, а именно *миф* о Сибири, который возникает и живет в массовом сознании Европейской части России в период присоединения и освоения Сибири как региона. Мысль Л.Г. Чащиной об Алтае можно смело отнести ко всей Сибири – это «понятие, сосредоточившее в себе множественные парадигмы смыслов, среди которых мифологическая – одна из важнейших» (1, с.66).

В монографии «Самодержавие и Сибирь» А.В. Ремнев отмечает влияние на сибирскую политику самодержавия «общественных настроений, стереотипов, разного рода слухов и мифов о Сибири», поскольку «положение Сибири в составе России оставалось не совсем ясным». Автор приводит мнение одного из участников заседания Русского географического общества при обсуждении вопроса о Сибирской железной дороге: «за Екатеринбургом начинается какой-то мрак». «Многим Сибирь все еще представлялась страной дикой, населенной преступниками и прочими отбросами из России, кишашей разбойниками, с которыми малочисленная полиция ничего поделать не может» (2, с.21). Если на правительственном уровне в XIX в. царила такая неопределенность в отношении Сибири и только *осознавалась* необходимость особого статуса региона, неудивительно, что коллективное представление о ней, не будучи направляемо политикой государства, должно было самоорганизоваться.

На помощь приходит именно миф, поскольку, во-первых, «миф вообще исключает неразрешимые проблемы и стремится объяснить трудноразрешимое через более разрешимое и понятное. Главная цель мифа – поддержание гармонии личного, общественного, природного, поддержка и контроль социального и космического порядка» (3, с.519). Во-вторых, поскольку «пружинами мифологического мышления являются... аффекты страха и надежды, желания и страсти, любви и ненависти» (4, с.40), оно дает выход и развитию утопической идеи русского народа. «Утопизм, – как пишет К.В. Чистов, – есть неизбежный элемент человеческого мышле-

* Статья написана при финансовой поддержке в форме гранта Иркутского государственного университета (тема № 111-02-000).

ния вообще, одна из типичных форм критического осмысления действительности, выражения неудовлетворенности ею, желания преодолеть ее вопиющие недостатки, сопоставить действительное и желаемое» (5, с.18).

Зародившись в условиях социально-утопических народных представлений, сибирский миф все больше наполнялся содержанием благодаря специфической связи языка с мифом. О природе этой связи говорит, со ссылкой на М. Мюллера, Э. Кассирера. Многозначность слова есть залог формирования мифологических понятий. Это формирование начинается со скрытого сравнения, метафоры, которая, «коренясь в сущности и функции самого языка, в то же время задает и представлению направление, ведущее к мифологическим структурам». По словам М. Мюллера, «мифология неизбежна... в высшем смысле слова – это власть, которой язык располагает над мыслью, причем в каждой возможной сфере его деятельности» (6, с.33). Подобное соотношение слова и мифа находим у В.Н. Топорова. Исследователь позиционирует мифологическое (наряду с архетипическим и символическим) как один из универсальных модусов бытия в знаке. Через «живое слово» осуществляется связь человека со сферой бытийственного благодаря процессу мифологизации, т.е. «созданию наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера образов действительности» (7, с.4-5). Преодолевая рамки социальной утопии, представление о Сибири (бытуя уже не только в массовом сознании, но и в сфере публицистики и художественной литературы) переходит в класс «сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого и, следовательно, неотделимы от мифа и всей сферы символического» (7, с.259).

Попробуем реконструировать художественный образ Сибири на основе литературных произведений XIX в. Присущая общественному сознанию жителей Европейской России противоречивость образа Сибири является основой в процессе создания ее публицистического и художественного воплощения. От этого противоречия отталкиваются в своем осмыслении своеобразия края многие путешественники. Например, путевые очерки лейтенанта Давыдова, относящиеся к началу века (1810 г.), прекрасно демонстрируют разноречивость не только рассказов и слухов о Сибири, но и реальных наблюдений автора. «Прежде я не мог воображать о Сибири без ужаса, но перед отправлением моим в Америку слышал о ней столько отменно хорошего от людей там бывавших, что поистине можно было усомниться в истине сих похвал. Правда, в Тобольской губернии приметно совершенное изобилие, но в Иркутской совсем иное...» (8, с.20, 24).

В «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, по словам Н.Е. Разумовой, «реальное наполнение сибирского пространства практически нейтрализуется», в изображении Сибири преобладают «явная абстрактность, эмпирическая «разряженность» при акцентировании значимых, символических деталей» (9, с.149-150). Сибирь мифологизируется писателем как «другое», противоположное российскому (или, точнее, столичному) пространству, способное проверить духовную сущность человека, его способность к нравственному обновлению и пониманию жизни. Так, во введении к роману Ф.М. Достоевский делит людей, побывавших в Сибири, на «умеющих разрешать загадку жизни» (такие «почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются»), и на «других», это «народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни» (они «скоро наскучивают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали?») (10, с.5).

В рассказах о трудных путешествиях купцов, о жизни охотников ссыльного декабриста А.А. Бестужева-Марлинского (1830) выделяется четыре мотива в описании быта и будущности северо-востока России, которые будут повторяться или варьироваться в очерках многих писателей-путешественников. В первую очередь, речь идет о мотиве пустынности пространства и связанной с ним темы смерти и одиночества. «...в беспрестанной *опасности* быть заметену выюгом на пути или стать жертвою диких зверей на ночлеге, или, что хуже всего, потеряв коней от недостатка подснежного корма, *погрестись* заживо в безбрежной *пустыне!*.. снова стелется мертвое поле под *саваном* снега... не видать ни птички, не слышно никакого голоса – это что-то *страшнее могилы!* Сама *смерть* связана с мыслью о жизни, а здесь она не дышала» (11, с. 142-143) (курсив здесь и далее наш. – Е.Ш.).

Во-вторых, постоянным в художественном воспроизведении сибирской дороги станет мотив скуки («одна скука, одно болезненное ощущение доказывает человеку, что он еще жив...»).

В-третьих, Бестужев-Марлинский говорит о возможности самодостаточного развития и процветания края. «Сама природа указала Сибири средство существования и ключи промышленности. Схороня в горах ее множество металлов и цветных камней, дав ей обилие вод и лесов, но между тем заградив ее от Европы, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и заводов» (11, с.153, 155). Этот мотив самобытного развития, как мы увидим ниже, будет одним из ключевых в книге «Фрегат «Паллада»» А.И. Гончарова. Наконец, четвертый элемент художественного образа Сибири Бестужева-Марлинского, который наиболее ярко проявится затем у С.Я. Елпатьевского, связан с метафорой природы как храма. Природа, в частности, сибирская тайга, действует на человека, подобно тому, как действует молитва в храме. Само слово «храм» появится у Елпатьевского, а тематика святости и тайны природы звучит уже у Бестужева-Марлинского. «Там необъятной величины голова будто смотрится в пучине; там сверкает ключ в глубине таинственной пещеры. Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой» (11, с.156).

Н.Е. Разумова очень точно заметила некоторые особенности авторской позиции И.А. Гончарова по отношению к Сибири в последних главах его книги. Во-первых, Гончаров, «подобно Одиссею», «возвращается» домой из долгого и трудного путешествия. Поэтому не только «русское» становится для автора объектом осмысления, вырисовывающимся в глобальном контексте» (9, с.160), но и, если продолжить мысль исследователя, Сибирь для него уже начало России. «Сибирское» априорно принимается за «русское», и только после проверяется эмпирически, но все-таки непременно со стремлением найти, увидеть что-то общее, единое в стране и ее регионе. Гончаров прямо говорит в книге, что «искомый результат путешествия – это параллель между чужим и своим», поэтому, готовясь сойти с корабля, автор с нетерпением предвкушает, что ступит на «отечественный берег», хотя ему предстоит еще «путь через Сибирь, путь широкий, безопасный, удобный, но долгий, долгий. И притом Сибирь гостеприимна, Сибирь замечательна: можно ли проехать ее на курьерских, зажмуря глаза и уши?». Путешественникам мерещатся «поля и дома родины», они воображают, что дышат ее воздухом, но Сибирь встречает их не «полями и домами», а «какой-то серой, неприступной, грозной стеной», «кучей громадных утесов» (12, с.487, 491).

Не доезжая Якутска, Гончаров уже говорит, что «станции пошли *русские*, якуты здесь только ямщики», а подъезжая, радуется, что увидит «первый *русский*, хотя и провинциальный город». «...Все-таки это Русь, – добавляет он, – хотя и сибирская Русь! У ней есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах, обычаях, отчасти, как вы видите, в языке, что и образует ей свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию» (12, 523-524). Эти слова, сказанные в начале знакомства с Сибирью, звучат как своеобразная гипотеза, которую автор намеревается проверить. Можно проследить цепочку наблюдений Гончарова: «много и русского, и нерусского, что со временем будет тоже *русское*»; «местами поселенцы не нахвоятся урожаем. Кто эти поселенцы? Русские...»; «...в Сибири нет места, где бы не были *русские*. Замечательные слова!»; «Слава Богу! все стало походить на Россию...» (12, с.523, 531, 535, 553) и т.д. Это рассуждение о соотношении «русского» и «сибирского» завершается выводом о характере национального развития страны в целом. Процесс цивилизации народов Сибири, по мнению Гончарова, проводится разумно и планомерно, в частности, русское правительство материально «поддерживает» переселенцев, сдерживает оборот вина, которое может быть губительно для «молодого края», просвещает якута, приучая его к земледелию и торговле. Во всех этих «мерах начальства кроется глубокий расчет – и уже зародыш не Европы в Азии, а русский, самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от ост-Индии до Китая и обратно» (12, с.533).

Еще одна особенность позиции Гончарова, отмеченная Н.Е. Разумовой, состоит в том, что его «взгляд на Сибирь эпичен: для него исходными являются всеобщие, надличностные ценности, обеспечивающие прогресс цивилизации: государственная власть, религия, социально-экономическое развитие» (9, с.160). Поэтому всего два раза, очень кратко Гончаров останавливается на истории конкретных людей, гораздо большее место занимают рассуждения о прогрессе, просвещении, о том, что «все год от года улучшается» (12, с.513). Кстати сказать, такая акцентировка внимания на позитивных преобразованиях в крае довольно энергичной, как получается, политикой русского правительства, способствует поддержанию в художественном образе Сибири мифологемы рая. В частности, картина жизни переселенцев дается почти иде-

альная, хотя и в обобщенном виде, без примеров и наблюдений: «Они вызываются или переводятся за проступки из-за Байкала или с Лены, селятся по нескольку семейств на новых местах. Казна не только дает им средства на первое обзаведение лошадей, рогатого скота, но и поддерживает их постоянно, отпуская по два пуда в месяц хлеба на мужчину и по пуду на женщин и детей... Есть места вовсе бесплодные: с них, по распоряжению начальства, поселенцы переселяются на другие участки...» (12, с. 533) и т.д. Негативные стороны региональной политики России автором не отмечаются, весь пафос очерков сосредоточивается на достигнутых уже результатах и оптимистических прогнозах. Уже отмеченные нами в литературе о Сибири мотивы пустынности и тоски у Гончарова, с присущим ему стилем эмоциональной раскованности и непосредственности, звучат очень настойчиво: «тоска сжимает сердце, когда проезжаешь эти немые пустыни», «...наслаждаться величием пустынного и скукой собственного молчания...», «он [край] пустыня и есть», «Боже сохрани от лютости скуки...» (12, с.501, 530, 542) и т.д.

Необходимо также отметить у Гончарова мотив быстрой езды, от которой «дух захватывает» и о возможности которой будет спорить в своих очерках Чехов. В книге говорится о плохой дороге, препятствиях и неудобствах пути, но говорится как-то вскользь, как о некоей неприятности, не идущей в сравнение с широтой решаемой задачи освоения Сибири. «Но во всех этих неудобствах виновата, как видите, природа, против которой трудной еще взять действительные меры» (12, с.530).

Еще более выразительно, чем Гончаров, о быстрой езде в Сибири скажет И.А. Кушевский, путешествовавший с одним золотопромышленником. «В России любят ездить шибко; в Сибири любят ездить сломя голову. У меня просто дух захватывало от грохота и быстроты, с которой мы скакали по довольно плохому шоссе...» (13, с.591). Вообще, текст И.А. Кушевского о Сибири мифологически ориентирован. Это значит, что процесс создания художественного образа начинается с обращения к мифу и заканчивается, принимая форму своеобразной личной мифологии, законченного, сконструированного образа. Речь идет не о «генерализации» как «системе архетипов коллективного бессознательного», которая бы опосредованно воздействовала на сознание читателя, вызывая ощущение «глубины», «невыразимости», «тайны» художественного целого (13, с.78). Речь идет о прямом обращении к уже существующим стереотипам мышления, о той или иной степени согласия или несогласия с ними. Поясним это на примере.

«...Сибирские дороги представлялись мне ульями, кишашими разбойниками... я полагал только, что здесь Сибирь, куда ссылаются из России все воры и разбойники...», – так начинаются очерки о «местах не столь отдаленных» Кушевского. Глаголы «представлялось» и «полагал» в соседстве с, в первом случае, яркой метафорой (*ульи*) и, во втором – с гиперболой (*все воры и разбойники*), емко воспроизводят в сознании читателя миф о Сибири, точнее, мифологему Сибири как ада. Вторая ключевая мифологема – Сибири как рая – обнаруживается через эпитет *драгоценная* Сибирь, как о ней отзываются ее жители, а также посредством упоминания о людях, сказочно разбогатевших здесь: «Горохов был очень знаменитый, и о его богатстве до сих пор можно слышать в Томске просто *легенды и баснословные предания*» (13, с.588). В противоположность ожидаемому путешественником впечатлению о «стране разбойников», многое «изумляет» и поражает своим несоответствием слухам. «Быт сибирских крестьян меня очень изумил... В этих домах нет ничего похожего на русские крестьянские избы... русская печь у сибирячки содержится с кошачьей опрятностью... Сам сибирский мужик сравнительно с русским крестьянином выглядит барином... у сибиряка много земли и леса, и он не жаден...» (13, с.592). В итоге, мы говорим о мифологичности образа Сибири в очерках Кушевского, потому что в них все противоречия сибирской реальности сливаются в одну стройную картину, получается не спор с отдельными мифологемами, а, скорее, согласие с ними.

«Здесь вы еще не таких див насмотритесь... здесь особое место, как Эльдorado какое... И действительно, я скоро имел много случаев убедиться, что нахожусь в особой стране...». Сибирский крестьянин, заключает автор очерков, «как в умственном, так и в нравственном отношении превосходит русского мужика, которого, сравнительно с сибирским мужиком, справедливо назвать мужичонкой. В Сибири мужик как-то выглядит даже больше и сановитее. Он ни перед кем не ежится, не подличает, он никогда не робок. Он смело говорит резон и дело, не преклоняясь перед авторитетом всякой чернильной души. Ко всему тому, сибирский мужик никогда не бывает пьяницей...» (13, с.593, 600). Выводом звучат слова: Сибирь – страна «осо-

бая» и «еще не известная». Как в самом сибирском мифе – противоречивость и недосказанность.

О минимальной степени мифологической ориентации как своеобразного диалога с общественными стереотипами можно говорить относительно сибирских рассказов В.Г. Короленко. Реконструкция художественного образа Сибири в его творчестве начинается не «извне» (не с попытки проверить слышанное о Сибири), а «изнутри», т.е. с разговора о реальности дороги, тюрьмы, ссылки. В первых рассказах Короленко, написанных по сибирским впечатлениям, прилагательное *сибирский* употребляется нейтрально, т.е. не несет в себе коннотативного смысла противопоставления с «русской» реальностью («сибирская ненастная осень», «сибирские тюрьмы», «сибирский взгляд на правила гигиены» (15, с.5-30) и т.д.). Вопрос о том, что Сибирь – далеко не Россия, поднимают в рассказах Короленко собеседники героя-повествователя, тогда как последний, наоборот, стремится сгладить или не замечать этих несоответствий. Так, в «Ат-Даване» мнение Михаила Ивановича («...какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебе не Рассей! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место»), после комментария повествователя воспринимается только как мнение героя рассказа, которое сам автор не разделяет. «Вообще Михаилу Ивановичу здешняя сторона не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и безразличия. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придирчивой критики... мне поневоле приходилось проводить с ним скучнейшие вечера...» (15, с.196).

В контексте всего творчества В.Г. Короленко сибирского периода синтезируется мотив пустыни как пространства, враждебного человеку. Красота сибирской природы воспринимается адекватно только там, где уже освоился человек. Когда величие природного мира на протяжении долгого пути видится без признаков человеческой культуры, оно превращается в тайну и незаметно поглощает сознание наблюдающего, превращая и его в элемент дикой, мертвой природы. В Сибири трудно жить во многом потому, что трудно человеку постоянно чувствовать свою культурную укорененность, обособленность. Природа еще всякий раз побеждает и обесмысливает его существование, оставляя чувство пустоты и смерти. «А мы тут зачем живем? Пеструю столбу караулим... Пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...» («Государы ямщики»). Освоить, очеловечить свои огромные пространства Сибири оказывается сложно именно потому, что она развивается не как самостоятельное государство, а как северо-восточная окраина другой, тоже огромной по своей территории страны. На Сибирь смотрят часто как на запас, на резерв, реформировать и преобразовать ее не торопятся, а жизнь тем временем замирает, люди чувствуют себя заброшенными и забытыми. Сибирь спасается тем, что принимает в себя чужую культуру так же, как принимает все пришлое население. Итак, художественный образ Сибири у Короленко лишен мифологического оттенка в описании того или иного аспекта жизни. Напротив, идеализированное представление осмысливается писателем и вводится в само повествование («...мужики, по большей части завербованные волшебными сказками о «золотых горах», плакали и били кайлами углубление порой в сплошной камне») (15, с.302). В рассказах и очерках писатель воздерживается даже от позиционирования Сибири как своеобразного, отличного в своем развитии региона, подчеркивая только, что Сибири нужны люди, которые несли бы свою культуру и сохраняли ее.

Художественный образ Сибири С.Я. Елпатьевского развивает некоторые мифологемы как структурные составляющие мифа о Сибири: мифологема тайны (святости), власти природы и своеобразного, «особого» развития сибиряка. Основной тоpos очерков Елпатьевского – тайга, ее олицетворение, наделение особой силой и властью завершается сравнением с храмом. Сознание путешественника находится под влиянием мифа о Сибири еще до знакомства с ней, поскольку даже тайга «уже одним своим названием сулила нечто новое и оригинальное» (16, с.535). Тайга обладает абсолютной властью, «воет своим угрожающим, страшным воем, ревет как расхитившийся, растревоженный зверь», она «ревниво хранит свою тайну» и только иногда расступается, чтобы дать место «какой-нибудь сотне, двум человеческих жизней». Наконец, в тайге, как в храме, душа человека, замороженная молитвой и тишиной, «возносится к небу». В очерках поддерживается мифологема сибиряка как особого типа, наделенного небывалой силой и удалью, ее источником называются как «легендарные рассказы», так и собственные наблюдения автора: «Я видел силачей в Сибири... я видел человека, боровшегося в обнимку с медведем

в тайге и сломившего медведя, знал двух могучих стариков, бывших скотогонов, о подвигах которых ходили в городе легендарные рассказы» (17, с.177).

С.Я. Елпатьевский говорит о сложившемся «духовном» типе сибиряка, имеющем ряд ярких отличительных черт. «Сибиряк уже менее сложен, чем русский, но он цельнее, структурнее, в нем мало русской тоски, русской мечты, русского раздумья и русского сердоболья – ему в равной степени чужды Галилей и Дон-Кихот, но он знает, что хочет, и он – жилистый, крепкий и умеет хотеть и может мочь... у него огромная тяга к знанию, к практическому делу, к строительству своей сибирской жизни... среди разноплеменных, разномерных людей он не знает, не чувствует разделительных граней, – религиозных, национальных; он безгранный, вненациональный, он сибиряк...» (17, с.182-183).

Таким образом, повествование Елпатьевского о Сибири мифологично. Некоторые черты сибирского мифа как будто проверяются авторскими наблюдениями и впечатлениями и выдерживают «проверку», сопровождаются выводами и заключениями очевидца.

В поэзии томского писателя и публициста Всеволода Сибирского (1890 г.) подобным образом тайга сравнивается с храмом и наделяется исцеляющим, очистительным свойством: «Ароматной негой дышит / Величавый лес... / Сердцу сладко... сердце слышит / Слово хор с небес! / Пенье птиц, ручья журчанье, / Шелест трав... покой / И забвение страданья / Для души больной!» (18, с.80), однако нет столь яркого, как у Елпатьевского, акцентирования сибирской самобытности, Сибирь прежде всего – «богатый край родной Руси». Нельзя сказать, что в поэзии Сибирского поддерживается миф о Сибири, скорее, он разрушается самоиронией («Пускай твердят: от нас застою / И мракобесием несет...»), размышлением о том, что время не искушает различия, а «просвещает» Сибирь и жить в одной стране – России.

Причиной равнодушия «мыслящей интеллигенции» к тому, что творится в Сибири и на Сахалине, А.П. Чехов прямо называет «необразованность нашего русского юриста; он мало знает и также несвободен от профессиональных предрассудков, как и осмеянное им крапивное семя» (19, с.26). Вся переработанная Чеховым перед поездкой на Сахалин литература (список книг, статей, газетных корреспонденций, связанных с работой А.П. Чехова над очерками «Из Сибири» и книгой «Сахалин» см.: 19, с.887-897) убеждала писателя, что в обществе нет основы, нет материала для хоть сколько-нибудь непредвзятого представления о северо-восточных окраинах России. Человек часто увлекается при описании экзотического далекого края. В результате растет и укрепляется в сознании миф о Сибири и Сахалине. В основе этого мифа лежит реальная действительность, но, возникнув и утвердившись в общественном сознании, сибирский миф держит его в плену своих устойчивых мифологем, лишает общество возможности освоить и принять Сибирь как реалию российской жизни. Поэтому повествование Чехова в очерках «Из Сибири» строится как взаимодействие с сибирским мифом, поэтапное преодоление его мифологем (20, с.278-282). Схематично восприятия сибирских реалий в тексте очерков выглядит так: погода, количество дичи, переселенцы, этап осужденных, воровство, пьянство, дорога (возможность быстрой езды), тайга. Если рассказы В.Г. Короленко, как мы убедились выше, начинаются ровно и как бы безотносительно места, с описания жизни, с раскрытия человеческих типов и только потом появляются уже какие-то сибирские особенности и обстоятельства, то у Чехова, напротив, непохожесть, еще не-знакомство Сибири и России четко оговорено в самом начале повествования. В первых пяти очерках местоимение «здесь» употребляется автором одиннадцать раз, так что очевидным становится стремление осознать разницу и принять ее. Слухи о разбоях на сибирской дороге побудили Чехова взять с собой револьвер, поэтому как разубеждение самого себя звучит фраза: «И в самом деле, по всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли... о грабежах на дороге здесь не принято даже говорить». Чуть не мистический страх проезжающих перед Козулькой вполне понятен Чехову, но страх этот все же развеивается и воображение меняет картину «страшной Козульки» на «расстояние в 22 версты между станциями» (19, с.28-29).

Особенно ярко демифологизация образа Сибири проявилась в отношении быстрой езды и описании тайги. «Правда, – пишет Чехов, – и современные писатели восхищаются быстротой сибирской езды, но это только потому, что неловко же, побывав в Сибири, не испытать быстрой езды, хотя бы только в воображении...». И, наконец, «знаменитая» тайга. «О ней много говорили и писали, а потому от нее ждешь не того, что она может дать» (19, с.34-35). Личное

восприятие заведомо освобождается от влияния каких-либо стереотипов и мифологем, и передается ровно и осторожно, не сбиваясь с пути непредвзятого взгляда на действительность («вначале как будто разочаровываешься... говорили мне... я ожидал этого, но все время, пока я ехал по тайге, заливались птицы, жужжали насекомые...» (19, с.35-36) и т.д.). С сибирской тайгой Чехов, как и многие писатели до него, тоже связывает тайну. Но тайна здесь лишена мистического, религиозного оттенка, это, скорее, тропинка, которая неизвестно куда, но все-таки куда-то ведет: «...в тайный ли винокуренный завод, в село ли... или, быть может, в золотые прииски...» (19, с.37).

Чехов создает художественный образ Сибири, учитывая, что существует уже сибирский миф в сознании русского человека. Сам писатель на непохожесть Сибири смотрит с уважением и убеждением в том, что Сибирь может и будет развиваться по-своему («...когда в Сибири со временем народятся свои собственные романисты и поэты...» и т.д.). Противопоставление Сибири и России сохраняется вплоть до последней фразы очерков («...как у нас, в больших городах»), но само стремление автора осознать и понять сибирскую реальность говорит о присутствии духа единения и жизни в России, у которой есть Сибирь.

В широком смысле миф о Сибири в XVIII-XIX вв. оказывал серьезное воздействие на общественное сознание, что часто побуждало к действию и изменению жизненного уклада. Речь здесь идет и о переселенческом движении, и об административных решениях по поводу ссылки и поселения, и о многих других общественных стереотипах. Источником их всегда служила кем-то воспроизведенная картина действительности сибирской жизни, которая часто мифологизировала тот или иной ее аспект. По мысли М.М. Бахтина, образ обладает определенной властью над своим предметом, он «и скрывает, и преувеличивает». «В образе еще жива его магическая стадия», существуют «пережитки насилия» над сознанием, поэтому в области художественной литературы возникает необходимость «смыслового преобразования» образа Сибири, его «дематериализации смыслом и любовью» (21, с.67).

Познание Сибири и ее образное воспроизведение в литературе XIX в. происходит, с одной стороны, как взаимодействие с сибирским мифом, как попытка не только узнать Сибирь, но и осмыслить миф о ней. Взаимодействие это идет или по пути дальнейшей мифологизации (Ф.М. Достоевский, А.А. Бестужев-Марлинский, И.А. Куцевский, С.Я. Елпатьевский, в определенной степени – И.А. Гончаров), или, напротив, демифологизации образа Сибири (В. Сибирский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов). С другой стороны, это познание осуществляется через «свободное самооткровение личности», «вопрос задается здесь познающим не себе самому и не третьему в присутствии мертвой вещи, а самому познаваемому», «критерий здесь не точность познания, а глубина проникновения» (22, с.7). Вслед за В.Н. Топоровым, рассматривающим Петербургский текст и Петербургский миф, мы можем отнести Сибирь к числу тех «сверхнасыщенных реальностей», которые «характеризуются особой антитетической напряженностью и взрывчатостью, некой максималистской установкой как на разгадку самых важных вопросов русской истории, культуры, национального самосознания, так и на захват, вовлечение в свой круг тех, кто ищет ответы на эти вопросы» (23, с.259). В русской литературе Сибирь становится онтологической темой, через которую осмысливаются важнейшие вопросы человеческого жизнеустройства.

Литература

1. Чашина Л.Г. Мифологема Алтая // Сибирь в контексте мировой культуры. Опыт самоописания. – Томск: АНО Изд-во «Сибирика», 2003.
2. Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. – Омск., 1977.
3. Мелетинский Е.М. Миф и двадцатый век // Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. – М.: Изд-во РГГУ, 1998.
4. Вундт В. Миф и религия. – СПб.: Изд-во «Брокгауз и Ефрон», 1912.
5. Чистов К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). – СПб., 2003.
6. Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 т. Т. 2: Мифологическое мышление. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002.
7. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Изд. группа «Прогресс»-«Культура», 1995.
8. Давыдов. Двухкратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова. – СПб., 1810.
9. Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2001.
10. Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 4. – Л.: Наука, 1972.
11. Бестужев-Марлинский А.А. Отрывки из рассказов о Сибири // Русские очерки: в 3 т. Т. 1. – М.: Художественная литература, 1956.

12. Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия: в 2 т. Т. 1. – М.: Советская Россия, 1976.
13. Кушневский И.А. Не столь отдаленные места Сибири // Русские очерки: в 3 т. Т. 2. – М., 1956.
14. Тюпа В.И. Аналитика художественного (введение в литературоведческий анализ). – М.: Лабиринт, РГГУ, 2001.
15. Короленко В.Г. Сибирские очерки и рассказы. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983.
16. Елпатьевский С.Я. Очерки Сибири // Русские очерки: в 3 т. Т. 3. – М., 1956.
17. Елпатьевский С.Я. Во власти природы // Елпатьевский С.Я. В Сибири. Рассказы и очерки. – Новосибирск: Новосиб. обл. изд-во, 1938.
18. Сибирский В. Не от скуки. Стихотворения. – Томск, 1890.
19. Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 14-15: Из Сибири. Остров Сахалин. – М.: Наука, 1978.
20. См.: Собенников А.С. Миф о Сибири в творчестве Чехова (очерки «Из Сибири») // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: материалы междунар. науч. конф. – Иркутск, 2004.
21. Бахтин М.М. Риторика, в меру своей лживости... // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. – М.: Русские словари, 1997.
22. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. – М., 1997.

А.Л. Гумерова

аспирант Института мировой литературы РАН
г. Москва

Образ Смердякова и Священное Писание: осмысление некоторых композиционных связей

В статье рассмотрены три библейские цитаты в речи героя романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Смердякова, связывающие его с другими персонажами. Эта связь объясняет некоторые особенности сюжетно-композиционной структуры романа.

A.L. Gumerova

Smerdyakov's character and the Scripture: understanding of some composition connections

The article reviews three biblical Scriptures in a speech by Smerdyakov, the hero of Dostoevsky's "Brothers Karamazov". These Scriptures connect Smerdyakov with the other characters, and this connection explains some peculiarities of plot and composition structure of the whole novel.

Мир романа «Братья Карамазовы» глубоко связан с Евангелием. Как справедливо замечает Д. Томпсон, «Библия ...сопровождает роман с начала (эпиграф) до конца (последняя речь Алеши)» (1, с.24). Понятно, что каким-то образом эта связь будет проявляться и в композиции романа – например, с помощью цитат из Священного Писания.

В романах Достоевского часто возникает довольно интересный композиционный прием: некая цитата появляется в тексте не один раз, а несколько. Возникает своеобразное «сквозное цитирование», т.е. цитата как бы проходит сквозь текст романа, соединяя таким образом различные элементы сюжета, которые на первый взгляд могут казаться не связанными друг с другом. В частности, подобное происходит с цитатами из Священного Писания.

Очевидным примером такого цитирования является эпиграф к роману «Братья Карамазовы»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ион. XII, 24.). Эти слова еще дважды появляются в романе в виде точной цитаты: один раз в главе «Старец Зосима и его гости» – в сцене, когда старец убеждает Алешу непременно найти Дмитрия на следующий день, он говорит: «Все от Господа и все судьбы наши. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»» (2, с.259). Второй раз – уже в главе «Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексея Федоровича Карамазовым», в разделе «Таинственный посетитель», этими словами будущий старец убеждает своего посетителя объявить о совершенном преступлении. «Взял я тут со стола Евангелие, русский перевод, и показал ему от Иоанна, глава XII, стих 24: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Я этот стих только что прочел перед его приходом» (2, с.281). И, очевидно, все эти эпизоды, где появляется цитата-эпиграф, связаны между собой. Однако похожее в произведениях Достоевского происходит не только с эпиграфом, но и с другими цитатами, появляющимися в тексте. В романе есть еще ряд подобных случаев, когда та